

ЛИТЕРАТУРНЫЙ СОВРЕМЕНИК

ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
Ж У Р Н А Л

ОРГАН СОЮЗА СОВЕТСКИХ
ПИСАТЕЛЕЙ СССР

МАЙ-ИЮНЬ • 1940

5-6

ЛЕНИНГРАД

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО „ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА“

БИОГРАФИЧЕСКИЕ ПОВЕСТИ А. РОСКИНА

В 1825 году Пушкин писал Вяземскому: «Зечем жалеешь ты о погребении Байрона? Чорт с ними! Слава богу, что потеряны. Он исповедался в своих стихах невольно, увлеченный восторгом поэзии... Оставайся любопытство толпы и будь заодно с гением... Мы знаем Байрона довольно. Видели его на троне славы, видели в мучениях великой души, видели в гробе посреди воскресающей Греции. Охота тебе видеть его на суде».

Переадресовавши слова об исповеди в стихах к самому Пушкину, их мог бы поставить эпиграфом к своему роману Ю. Н. Тынянов, именно так понявший единственно правильный метод биографа.

Однако не все в этом высказывании Пушкина действительно для наших дней. Слова о толпе, жадно читающей исповеди, записки, etc., «потому что в подлости своей радуется унижению высокого, слабостям могущего», совершенно справедливы для светской черни первой трети XIX в., но никак не могут быть применены к нашему читателю, которого интересует не унижение, а высота, не слабости, а душевное могущество великих людей.

В своей книге «Максим Горький» А. Роскин приводит слова другого великого русского писателя, тоже с предельной искренностью и полнотой высказавшегося в своих произведениях, — Л. Н. Толстого.

Вскоре после своей первой встречи с А. М. Горьким Толстой написал ему: «Аксаков говорил, что бывают люди лучше (он говорил — умнее) своих книг и бывают хуже. Мне ваше писание понравилось, а вас я нашел лучше вашего писанья».

Так вот, наш читатель всегда с нетерпением ждет знакомства с писателем, ожидая, что он окажется еще лучше своих книг, что его биография сделает сами книги яснее и ближе. Так же понимают свою задачу в большинстве случаев и наши писа-

тели — авторы биографических романов, повестей, очерков. В этом принципиальное отличие произведений этих жанров советской литературы от многих западных «biographies romancées», где дон-жуанскиехождения Байрона и хвастовство Балзака служат предметом внимания более или, по крайней мере, столь же пристального, как свободолобие одного и сверхчеловеческие наблюдательность и историческая проницательность другого.

Книги А. Роскина о Чехове и Горьком, справедливо получившие чрезвычайно положительную оценку в нескольких критических отзывах, в равной мере далеки и от пикантных «biographies romancées» и от казенных жизнеописаний.

Правда, он избрал своими героями таких писателей, которые на самом деле еще лучше своих книг, и ему не нужно было ни в чем грешить противу реализма, чтобы изобразить их действительно замечательными людьми.

Но, с другой стороны, его задача осложнилась тем, что и в биографии Горького, и в биографии Чехова он имел весьма достойных предшественников в лице Груздева и Дермана.

И, тем не менее, биографические повести Роскина, как и очерки и статьи его о Чехове, печатавшиеся в «Литературном критике» и «Литературной газете», интересны не только для тех, кто незнаком с работами Дермана и Груздева. В них есть своя точка зрения, свой авторский почерк.

Роскин почти всегда помнит, что свои биографические повести он пишет о писателях, которые всего полнее и искреннее высказались в своих произведениях, которые самую жизнь свою строили и осознавали не литературно в дурном смысле слова, но по-писательски.

Под этим углом зрения он сумел осмыслить Чехова и Горького. Литературный анализ сочетается в его повестях с проникновением в описываемых

ваемые жизненные события и самый характер своих героев. Биографическое повествование часто переходит у него в творческую историю того или иного произведения.

«Чайка» отражает множество авторских воспоминаний. Она словно родилась из строчек дневника, предназначенного только для самого себя.

В пьесе упоминается Тверь, и это не случайно. На берегу одного из тверских озер жил Чехов перед тем как написать «Чайку», и здесь покушавшийся на самоубийство Левитан ходил как Треплев с черной повязкой на голове. И фразы учителя Медведенко, и странная привычка Маши нюхать табак, и чтение на садовой скамейке Мопассана, и разговоры о литературе, и несчастная любовь молодой девушки к известному писателю, — все это витало вокруг Чехова в дни работы над «Чайкой», казалось выхваченным прямо из знакомой и близкой ему жизни.

В «Чайке» Чехов говорил и о самом себе, о том, что волновало его сильнее всего: о тайнах своего писательского труда и о своих мечтах о новом, смелом и тонком искусстве.

Иногда такой экскурс в биографию Чехова действительно многое разъясняет в том или ином его произведении. Особенно важно это для пьес.

Так интересно поэтому наблюдение Роскина (очевидно, правильный домысел), что, когда Чехов писал Лопухина, звенящего ключами от дома и кричащего в радостном опьянении: «Вишневый сад теперь мой! Мой!», он вспомнил одну из картин своего детства: «Дом на Елисаветинской должен быть отнят за долги. Гавриил Парфентьевич (жилец. А. М.) обещает матери прийти на помощь, но вместо этого сам покупает дом. Он входит к матери и, едва сдерживая свою радость, говорит:

— Я оплатил вексель, н... прощайте, мамаша, теперь это мой дом!

Чеховская семья покидает дом. Остался один только шкаф...»

Иногда такого рода комментарии к биографии слишком расплывчаты и недостаточно убедительны, как в случае с «Дамой с собачкой». Но и это искупается верностью общего взгляда Роскина на жизнь и творчество Чехова.

Роскин расправился с либерально-народнической легендой о Чехове как о безыдейном писателе, но не

скрыл того, что в молодости Анто́н Павлович не интересовался «политикой», и понадобился процесс Дрейфуса и весьма неблагоприятные отклики Суворина на него, чтобы Чехов ушел из «Нового времени».

Роскину удалось установить правильное соотношение между жизнью страны, отразить которую с необычайной трезвостью и честностью сумел Чехов в своем творчестве, в собственной судьбой писателя, бесспорно служившей самым непосредственным источником для его произведений. Очень интересно подводит Роскин Чехова к поездке на Сахалин. Среди интеллигенции в восьмидесятые годы царили растерянность и уныние. Чехов не бросился в пролет лестницы, как Гаршин, от разочарования и отчаяния, но не мог успокоиться и на личном самоусовершенствовании, понимая, что на самом деле это не что иное, как приспособление к российской действительности.

Он искал выхода в практической деятельности и науке. Он восхищался великими путешественниками, считая их людьми подвига, которые нужны человечеству как солнце. Себя он не причислял к ним, но и ленивое, равнодушное существование людей, окружавших его, было ему чуждо. Он уехал на царскую каторгу, чтобы посмотреть и описать ее. Очень хорошо рассказано в биографической повести об отношении Чехова к природе, о том, что степь была для него вступлением в жизнь.

«Не Егорушка, а лиловая степь была настоящим героем повести. В изображении природы всей родины вкладывал Чехов всю смелость и любовь художника, который рассказывал о дорогом ему и близком, не боясь показаться провинциальным...»

Широким и спокойным рассказом о природе хотел Чехов начать длинное повествование о судьбах Егорушки и тех, с кем он путешествовал и кого он встречал на степных большаках. Повесть о степи превращалась в трагическую историю молодого человека.

Особый интерес в связи с этой трактовкой «Степи» приобретают встречи и вся история дружбы Чехова с Левитаном.

«Степь» была повестью-пейзажем, о которой Чехов мечтал, стоя перед скромными полотнами своего друга Исаака Левитана.

Книга «Чехов» написана интересно, увлекательно, тепло. Она прибавляет многое к нашему знанию о Чехове, хотя, может быть, лирическая сторона натуры писателя несколько заслоняет в повести трезвость его реализма.

Но иногда Роскин старается написать тот или иной эпизод прежде всего и во что бы то ни стало интересно, и в таких случаях эта обязательная заинтересованность повествования приводит к нарочитости и поверхностности.

О Художественном театре Роскин пишет: «Одним из видных актеров театра был учитель чистописания и рыболов. Одной из лучших артисток — классная дама. Главным режиссером — директор фабрики золотой нитки». И это перечисление профессий повторяется неоднократно, что излишне, что противоречит той скупой простоте, которую исповедывал сам Чехов.

Книга Роскина о Чехове удачнее его книги о Горьком. Правда, и задача его в этой последней была сложнее, потому что сам Горький оставил нам цикл произведений автобиографических в самом точном смысле слова, потому что Груздев написал не только биографический очерк и первую часть капитального исследования «Горький и его время», но и повесть для детей о детстве Горького.

Очевидно, потому Роскин начал свою книгу не непосредственно с биографического повествования, а с сопоставления судьбы Горького с судьбами русских писателей-разночинцев, отталкиваясь не от художественных произведений, а от статей самого Алексея Максимовича. Удачнее всего в этой книге — встречи Горького с писателями Короленко, Чеховым, Толстым. Хорошей завязкой длительной и плодотворной дружбы Горького с одним из них служит совет жандармского генерала, данный аресто-

ванному Алексею Максимовичу — обратиться к Короленко. Очень интересно написаны эпизоды жизни Горького в Нижнем, источниками для которых послужили неопубликованные письма Алексея Максимовича. Это — елка, устроенная Горьким для бедных детей Нижнего, которым раздавались не игрушки, а сапоги, рубашки, валенки. Это затейный им альбом из журнальных вырезок для деревенских ребят. «Ведь они ничего не видят, — говорил Горький. — А тут и города, и реки, далекие страны... Увидят замечательных людей, захотят узнать, что они сделали...»

Досадно, что скопканы и сухо написаны последние главы книги — о возвращении Горького в СССР, о труде писателя и о гневе, которым народ ответил на убийство Алексея Максимовича.

Книга «Чехов» издана превосходно. Очень удачен подбор иллюстраций, техника их воспроизведения; хороши шрифт, бумага. Сравнительно невысока цена — 5 р. 75 к.

К сожалению, этого же нельзя сказать о книге «Горький». Правда, она совсем дешева — 1 р. 65 к., но и эта дешевизна не искупает скудости иллюстраций (новых из них очень мало), не извиняет серой бумаги, тусклой печати.

А. Роскин работает в биографическом жанре уже несколько лет. Его первые биографические очерки — это скромные маленькие предисловия к серии рассказов иностранных писателей, издававшейся Детиздатом. Одни из них сильнее, как биография Додэ, другие слабее, как биография Мопассана, но все они кажутся нам только предсказанием того мастерства критика, биографа, беллетриста, которое обнаружил Роскин в своей повести о Чехове.